

За подлинного Пушкина¹

(Ответ Е. Тарле)

В своих «Заметках читателя» Е. Тарле с большой энергией выражений нападает на современные принципы издания сочинений Пушкина, им огульно отрицаемые. Он обвиняет редакторов Пушкина, и меня в первую очередь, во всех семи смертных грехах и призывает немедленно переиздать однотомник Пушкина «с самым радикальным выправлением всех искалеченных мест». Этот вывод из «Заметок читателя» и заставляет меня сделать оценку действительного значения выступления Е. Тарле. В основе аргументов Е. Тарле лежит следующий тезис: «Знаменитый принцип», по которому «в основу мы кладем издание 1834 года», остается еще на ногах и держится весьма бодро.

Можно было бы ограничиться недоумением, о каком издании 1834 года говорит Е. Тарле, и попросить его в своей критике соблюдать некоторую, хотя бы приблизительную точность. Указанный им 1834 год не опечатка. Он повторен и на стр. 215. Но дело в том, что в 1834 году вышли в свет только два издания: прозаические «Повести» Пушкина и «История Пугачевского бунта». Ни одно из этих изданий не «положено в основу» советских изданий. В издание «Повестей» не вошли присутствующие во всех советских изданиях произведения, вроде «Дубровского», «Рославлева», «Истории села Горюхина», а «Арап Петра Великого», представленный двумя отрывками, ныне печатается полностью. Что же касается «Истории Пугачевского Бунта», то она печатается даже под другим, подлинно Пушкинским названием: «Истории Пугачева» (в 1834 г. она вышла в свет под названием, навязанным Николаем I на том основании, что «преступник как Пугачев не имеет истории»; все дореволюционные издания благоговейно сохранили николаевское название).

Вряд ли можно было с точки зрения «принципа», оспариваемого г. Тарле, назвать год, менее удачный, чем 1834 г. Именно издания 1834 г. показывают, в какой мере в советских изданиях текст Пушкина раскорепощен в сравнении с прижизненными изданиями и со всеми посмертными изданиями.

Но не будем играть в прятки. Дело не в опiske г. Тарле, хотя

¹ Печатается в порядке обсуждения.

он и злоупотребляет своим правом делать описки на каждом шагу. Дело в том, что советские издания, мною редактированные, действительно гораздо ближе по расположению материала к изданиям самого Пушкина, чем издания Ефремова и Морозова, столь милые сердцу Е. Тарле и столь бесцеремонные по отношению к тем принципам издания, к которым Пушкин относился с большой заботливостью. Действительно, в построении своего издания я считался с собственным замыслом Пушкина, выраженным в многочисленных планах издания, сохранившихся в его рукописях и отчасти осуществленных в его собственных изданиях. Я всегда имел наивность полагать, что Пушкину самому лучше было известно, как и что следует печатать и как располагать печатаемое. Я никогда не стремился воспроизводить цензурных сокращений и искажений, которым подвергался текст Пушкина при его жизни и после его смерти. «Пресловутый однотомник 1924 года» печатает ряд произведений, не увидевших света при жизни Пушкина. Об этом скромно умолчал Е. Тарле. Ни одно из редактированных мною изданий не является механическим воспроизведением текста прижизненных изданий, в чем нетрудно убедиться, просмотрев эти прижизненные издания, чего Е. Тарле, судя по всему, не счел нужным сделать.

Обратимся к конкретным замечаниям Е. Тарле.

1) Очень красноречиво описывает Е. Тарле, как редактор убрал из текста шестой главы две «бичующие» строфы и поместил их петитом в примечания. Эти строфы, по мнению Е. Тарле, «проскользнули (один раз) в первом издании!». В действительности же, эти строфы «проскользнули» во всех изданиях, вышедших при жизни Пушкина, не вызывая протеста ни бенкендорфовских, ни уваровских цензоров. Имеются они в издании 1828 г., и в издании 1833 г., и в издании 1837 г. и ни разу не были запрещены цензурой, которая внимательно читала все эти три издания, независимо от того, печатались ли они корпусом, петитом или нонпарелью. Разница та, что в первом издании эти строфы Пушкин печатал в общем ряду строф, а в двух последних он их особо выделил, сопроводив примечанием: «В первом издании шестая глава оканчивалась следующим образом». Чтобы это примечание не осталось незамеченным, он в самом тексте поставил криминальную цифру «40». Таким образом, отказавшись от первоначального плана конца главы, Пушкин не пожертвовал данными стихами (как, например, он поступил с рядом строф четвертой и пятой глав), а тщательно сохранил, даже особо выделил. Мог ли он рассчитывать, что его примечаний не читают? Думать, что это сделано по настоянию цензуры, никак нельзя. Цензоры гораздо внимательнее читали текст издания, чем тот «читатель», которому хочет все «объяснить» Е. Тарле. Цензура здесь не при чем: композиция романа и расположение строф в данном случае всецело принадлежат самому Пушкину. Это Е. Тарле должен был знать, как должен был сказать читателю «Литературного критика», что строфы эти напечатаны в однотомнике не в составе примечаний редактора, начинающихся со стр. 819, а в тексте самого Пушкина, на стр. 162. Между тем роль Пушкина в этой композиции Е. Тарле

предусмотрительно замолчал, представив дело так, что все заключается в произволе цензуры и Б. Томашевского.

Что же после этого мне остается ответить на риторический вопрос Е. Тарле: «Что бы сказал Б. В. Томашевский, если бы...» Ответить можно только одно: в критике надо соблюдать добросовестность и честность.

Я в свою очередь не буду задавать риторических вопросов, что бы сказал Е. Тарле, если бы он более честно оперировал с фактами и рассказал бы, как Пушкин на глазах цензуры переставлял строфы романа, выделяя их и предваряя примечанием, обращаящим на них внимание добросовестных читателей. Не думаю, чтобы Е. Тарле заговорил о расчете Пушкина на близорукость цензора, не читающего напечатанного петитом («типографскими бактериями» по образному его выражению), на трусость Пушкина, убоявшегося осуждения «света» и своевременно перестроившегося и т. п.

2) Следующий пример относится к отделу тех трудных и спорных вопросов издания текстов Пушкина, которые опасно решать сплеча, как делает это Е. Тарле. История вопроса такова. В восьмой главе Онегина строфа IV первоначально читалась:

Но Рок мне бросил взоры гнева
И вдаль занес.— Она за мной.
Как часто ласковая дева
Мне услаждала час ночной
Волшебством долгого рассказа.

Но еще до представления в цензуру Пушкин эти стихи переделал:

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... она за мной.
Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа.

Именно такова смена текстов. То, что печатает Е. Тарле, есть контаминация разных текстов — обычная в его «заметках» неточность. Но не в ней дело. А дело в том, что «Рок» первой редакции есть Александр I, а «взоры гнева» — его распоряжение о высылке Пушкина на юг. Итак, в первой редакции Пушкин писал о своем принудительном пребывании на юге. Писал в очень смягченной форме, уже учитывая возможность цензурных придиорок. Конечно, для Пушкина Александр не представлялся неким Роком, бросающим «взоры гнева»: это был «властитель слабый и лукавый». Уже самый образ Рока есть приспособление к цензуре. В окончательной редакции Пушкин отказался от компромиссной редакции и просто обошел эту тему, воспользовавшись другой темой, не чуждой его лирике, темой добровольного изгнания, темой Чайльд-Гарольда. И сделал он это вовсе не механической заменой одного слова другим, а ввел новую тему:

Но я отстал от их союза.

Кто это они? Предыдущая строфа кончается стихами:

А я гордился меж друзей
Подругой ветренной моей.

Кто эти друзья? Это те самые петербургские друзья, о которых Пушкин писал в 1820 г.:

Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной юности минутные друзья.
(«Погасло дневное светило»)

В первой редакции этих «друзей» вовсе не было. Предыдущая строфа говорила не о друзьях, а о безразличных людях, о гостях, о посетителях «пиров».

И я гордился меж гостей
Шалуней ветренной моей.

Следовательно, мы имеем не только простое устранение темы Рока, но и введение темы «друзей», которых бежал Пушкин, что вызвало переработку предыдущей строфы. Таким образом, соображения, быть может, в основе и цензурного порядка, привели Пушкина к введению новой темы, глубоко автобиографической, воспроизводящей действительные настроения поэта 1820 г. Вправе ли мы отбросить эту новую тему, изложенную (этого не станет отрицать и Е. Тарле) прекрасными, настоящими пушкинскими стихами. Если бы Пушкин был только политическим писателем, только публицистом, а его поэзия была бы привеском к его вольнолюбивым мнениям, мы бы, конечно, не считаясь с художественным замыслом, должны были восстановить политический намек, исчезнувший при переработке. Но Пушкин ведь дорог нам в первую очередь, как художник, и потому вопросы художественного порядка иногда могут перевешивать вопросы цензурного порядка.

Не забудем, что Пушкин писал в николаевское время и для николаевской цензуры, в «жестокий век». Это заставляло его очищать от политических откровенностей в самом замысле те произведения, которые предназначались для печати. Уже в бесформенных еще черновиках он истреблял те формулировки, которые могли встретить препятствие в цензуре. Весь процесс творчества проходил в атмосфере подцензурности. Можем ли мы здесь что-нибудь изменить? Неужели мы должны заменять законченные, художественно зрелые произведения этими бесформенными черновиками? Надо решительно сказать — нет. Мы должны дать читателю наиболее законченный художественно текст, предупредив его, что Пушкин написал не все, что хотел, и кое-какие следы того, что он думал было написать, находятся в черновиках. И тот, кто хочет знать всего Пушкина, обязан читать и черновые тексты, хотя бы они и печатались петитом. Вопрос только — где эти черновые тексты должны печататься: во всех ли изданиях Пушкина, и в какой мере они должны быть представлены в изданиях избранных произведений? Вопрос, к которому мы еще вернемся.

А пока я разрешу себе привести пример того, как цензурная придирка заставляла изощряться Пушкина в его творческой работе. «Кавказский

Пленник» издавался в 1821 г. в исключительно тяжелых условиях. Цензоры относились к первой поэме, написанной в ссылке, с исключительной подозрительностью. Из поэмы истреблялось не только политическое содержание, но и все, что противоречило благочинию и благопристойности, объявленным необходимыми спутниками политического режима. В рукописи прощание Пленника с Черкешенкой было не таково, как в печатном тексте. Говоря о «поцелуе разлуки» Пушкин писал:

Его томительную негу
Вкусили тут они вполне,
Потом, рука с рукой, ко брегу
Сошли и т. д.

Стихи эти вызвали дурные мысли у цензора: какую негу? что значит «вполне»? Все это было признано соблазнительным. И вот Пушкин под давлением цензуры зачеркнул восемь стихов и написал новые.

Впоследствии, со сменой министерства, интерес цензоров к соблазнительным картинам несколько ослабел, и Пушкин получил возможность восстановить все аналогичные места, искаженные цензурой. И он восстановил все, кроме данного места, находя его более сильным в новой редакции. И до сих пор ни один из редакторов, даже из числа самых подозрительных, не восстанавливает первоначальных стихов, устраненных цензурой, безмолвно соглашаясь с Пушкиным.

Этот пример показывает, что вопрос восстановления текста, переработанного не только в предвидении цензуры, но даже под прямым ее давлением, должен решаться с большой обдуманностью и осторожностью, что отнюдь не свидетельствует о том, что редактор солидаризируется с Бенкендорфом и жандармами. Решения же, принимаемые вдруг и немедленно по требованию каждого «читателя», воспитанного на изданиях Ефремова и Морозова, толкают нас на опасный путь.

3) Пример с «Домиком в Коломне» просто удивителен. Правда, именно Ефремов вставил в текст Пушкина строфы, сообщенные по черновику Анненковым, вставил, не видя рукописи, и поэтому не туда, куда их можно отнести, и не все, что в рукописи находится, вставил, не заметив того, что Пушкин их устранил без всякого цензурного давления, что строфы эти недоработаны Пушкиным, что Пушкин продолжал свою повесть после того, как зачеркнул эти строфы, и не считаясь с ними. Е. Тарле вовсе не подозревает о той бессмыслице, которая получается, если в последовательный рассказ Пушкина вставить отброшенные строфы. Более вдумчивые критики, не обращая к рукописи, замечали это, и, например, в издании под редакцией Венгерова «Домику в Коломне» предисловие, в котором В. Брюсов указал на смысловые и художественные неувязки, образовавшиеся от редакторского произвола.

Что касается вопроса о «хрипунах», то до однотомника нигде не разъяснялось даже значение слова «хрипун», и, следовательно, вопрос о том, «сболтнул ли Пушкин» и «стоит ли над этим думать» относится в равной мере и к Морозову и к Ефремову, комментировавшим «Домик в Коломне» и «проглядевшим» историю Шимана.

Но прежде чем спешить воспользоваться полезными указаниями Е. Тарле, попробуем их проверить. Сперва о толковании самого слова «хрипуны». Оно было кличкой молодых офицеров, это верно. Но только ли это означали «хрипуны» в словоупотреблении Пушкина? За год до «Домика в Коломне» Пушкин писал «Роман в письмах», где читаем: «Ты отстал от своего века и сбиваешься на *ci-devant* гвардии хрипуна 1807 г. Покамест это недостаток, но скоро ты будешь смешнее генерала**» (Однотомник, стр. 634). Не характеризовались ли этим словом некоторые замашки офицерства, уже вышедшие из моды и смешные в обстановке 1829—1830 гг.? Ведь и Булгарин говорит об этом слове: «Было время, что в армии называли хрипунами тех из молодых офицеров, которые и т. д.» (см. словарь к однотомнику). Не следует ли в связи с этим понимать слов «хрип ваш приумолк» в том смысле, что эти ухватки «хрипунов» уже вышли из моды? Кстати и о самом значении слова. Историк Е. Тарле, толкуя его, едва ли не переносит на явления начала XIX в. представления 90-х годов (о грацирующих дворянчиках-гвардейцах). Не проще ли обратиться к памятникам того времени и вспомнить, что Чацкий назвал хрипуном полковника Скалозуба («Горе от ума», действие III, явл. I), а Вяземский в «Записной книжке» сообщает, что слово хрип «означало какое-то хвостовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственной хрипlostью голоса» (т. VIII, стр. 150). Ведь это не совсем то, чего хочет Е. Тарле.

Обратимся теперь к исторической стороне. «У нас война» по Тарле, конечно, война турецкая (до сих пор принято было думать о журнальной войне); в этой войне русские войска потерпели ряд неудач, и Пушкин «под носом у Бенкендорфа» весело смеется над этими неудачами. Однако, достаточно вспомнить отношение Пушкина к этой войне, положившей предел русскому нейтралитету в балканских делах, достаточно вспомнить его позицию, равно как и позицию декабристов по отношению к такому нейтралитету при Александре (см. стих. «Война»), чтобы понять, что для Пушкина насмешка над поражением русской армии показалась бы более чем неуместным зубоскальством. Не померещился ли историку Е. Тарле бука-Бенкендорф в данном случае зря, и не закричал ли он о волке до его настоящего прихода?

4) Уже совершенно умопомрачителен плач Е. Тарле о второй части «Воспоминания». Ему и здесь мерещатся жандарм и цензура, и он принужден сам одернуть себя и выдвинуть какие-то неведомые «другие препятствия». А другие препятствия очень просты и элементарны. Пушкин не написал второй части стихотворения. То, что печатали Ефремов и Морозов, является весьма произвольной обработкой черновика, сделанной П. В. Анненковым (между прочим с нарушением стихотворного размера в двух стихах), который сам очень благоразумно не вводил своей композиции в законченный текст Пушкина, а напечатал в своих «Материалах», как образец «художнического очищения произведения». Насколько композиция Анненкова далека от подлинного текста Пушкина, Е. Тарле мог бы убедиться, сравнив текст Морозова или Ефремова с печатаемым в однотомнике (конечно, среди черновых редакций). Вопрос этот настолько решен и перерешен, что еще С. Вен-

геро, вообще придерживавшийся традиции Морозова и Ефремова, обратившись к рукописи Пушкина, принужден был отступить перед очевидностью и напечатать «конец» отдельно от самого стихотворения (том II, 1908 г., стр. 491). Но для Е. Тарле труды редакторов, работавших после Ефремова и Морозова, повидимому, просто неизвестны.

5) Такого же порядка и плач об янычарах, в которых Тарле видит декабристов. Он очень жалеет, что черновых стихов продолжения «Стамбул гяуры нынче славят» нет в одномомнике. Я с своей стороны очень жалею, что ему попался экземпляр без этих стихов. В моем экземпляре все шестнадцать стихов напечатаны на стр. 1907, и этим вопрос как будто исчерпывается. Но должен заметить, что эти шестнадцать «опаснейших» стихов были напечатаны при Бенкендорфе и его жандармах.

6) Не буду останавливаться на столь же компетентном заявлении о стихах из «Египетских Ночей». Е. Тарле спокойно и наивно принимает композицию Жуковского за подлинное стихотворение Пушкина. Между тем речь идет не о том, чтобы кто-то злонамеренный изъял стихи из текста Пушкина, а о том, что к законченному стихотворению Пушкина по догадке присоединились стихи, с данным стихотворением связанные только тематически. При чем же тут жандармы и свидетельство. А. Ф. Кони, если именно композиция Жуковского увидела свет под бдительным оком Бенкендорфа?

7) Далее Тарле спрашивает, откуда автор примечаний взял, что употребленное Вяземским слово «шинельные» в применении к патриотическим стихотворениям Пушкина обозначает здесь «лакейские поздравительные». Сам он предлагает другое толкование: «Шинельные ясно обозначают здесь: военно-патриотические, браваурные, барабанные». Отвечаю: я взял это толкование из следующего комментария к словам Вяземского: «стихотворцы, которые в Москве ходят в шинелях по домам с поздравительными одами... Как мы ни радуясь, а все похожи мы на дворню, которая в лакейской поет и поздравляет барина с именинами, с пожалованием чина и проч.». Цитируемое объяснение принадлежит самому Вяземскому и писано им 14 сентября 1831 г. (соч. Вяземского, т. IX, стр. 155—156). Но Е. Тарле, конечно, знает лучше Вяземского, что он хотел сказать, равно как он знает лучше Пушкина, что тот хотел написать. И так пишется история.

Но приличествует ли Е. Тарле, имеющему определенные научные заслуги, столь публично демонстрировать свои ошибки и оправдывать стихи Пушкина о Сапожнике. Или же это какая-то мистификация, и Е. Тарле задался целью «морочить дурака» и «умного дурачить», как о том писал Пушкин в VI строфе шестой главы Онегина? Когда я читаю такие утверждения, как-то, что Каченовский не боролся с литературной школой Карамзина (а вся деятельность «Вестника Европы» и все статьи Лужницкого старца?), или когда наблюдаю радость по поводу явной опечатки (конференция вместо конфедерация: ср. стр. 521), я перестаю понимать, почему Е. Тарле заинтересован в дискредитации нужного труда?

Но оставим Е. Тарле и обратимся к вопросу, почему же тексты одномонника, как впрочем и тексты всех прочих советских изданий,

так отличаются от дореволюционных изданий Ефремова и Морозова. А дело в том что издания Морозова и Ефремова представляли печальную картину предельного применения принципа редакторского произвола. Особенно отличался в этом отношении Ефремов, по стопам которого смиренно повлекся Морозов. В течение 25 лет они являлись монополистами в издании Пушкина, и наивные читатели, воспитанные на этих изданиях, искренно принимали их стряпню за подлинный текст Пушкина. Сила инерции, привычки велика. Когда в 1905 г. С. А. Венгеров, например, установил, что Пушкин писал и печатал «село Горюхино», а не «Горохино», многие читатели Ефремова и Морозова искренно возмущались изменением привычного названия и восклицали: к чему меняй! так хорошо было Горохино! Вот к такому разряду читателей, слепо верящих в текст Ефремова и Морозова, и относится Е. Тарле.

Между тем принцип П. А. Ефремова был принцип «полноты», доводимый им до абсурда. По существу история текста Пушкина такова. Не издававшиеся полностью при жизни поэта его сочинения впервые были собраны и изданы в издании 1838—1841 гг. Издание это, к которому имел отношение В. А. Жуковский, отличается исключительной неряшливостью. Некоторые произведения Пушкина в нем напечатаны дважды под разными названиями. Тексты были подвергнуты цензурным и просто редакционным переделкам. Именно в этом издании мы читаем искаженный текст «Памятника», где Александр заменен Наполеоном, а упоминание о свободе вытравлено. Там был напечатан искаленный «Медный всадник», «Сказка о попе», в которой поп заменен купцом Остолопом, а от многих произведений остались рожки и ножки.

В 1855 г. появилось первое критическое издание сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова. К сожалению Анненков слишком доверял посмертному изданию. Он знал, что у Жуковского были какие-то бумаги Пушкина, до него не дошедшие (ныне в составе Онегинского музея поступившие в Пушкинский дом). Поэтому он в весьма малой степени исправил текст посмертного издания, ограничившись лишь изредка выражением недоумения по поводу этого текста в примечаниях. Зато он дал ценные извлечения из черновики Пушкина, напечатав их в особом томе, названном «Материалы для биографии».

Пришедший на смену Анненкову Геннади не много сделал для приведения в порядок текстов Пушкина, так как не располагал никакими материалами, кроме чужих частичных публикаций. Но он уже стал на порочный путь стремления к «полноте». Что такое «полнота» у Геннади, сказано было в «Свистке» Добролюбова: «Я признаюсь, как простой читатель, был крайне огорчен, что, например, в стихотворении «Роняет лес багряный свой убор» явилось несколько куплетов, которые совсем испортили для меня эту пьесу, очень мною любимую! Сначала я думал, уж не сам ли известный и проч. (т. е. Геннади) сочинил их, но оказалось, что он взял их из рукописи самого Пушкина и только вставил их в тех местах, где Пушкин их зачеркнул, разумеется, как плохие и нарушающие общую стройность пьесы. Но не надо забывать, что Пушкин писал все для таких читателей, как я, которые хотят наслаждаться, и поэтому находят неприятным разные поправки в книге. Вероятно,

в этом смысле он и говорил в своем известном стихотворении, что не умрет «весь». Г. Геннади, становясь теперь в уровень с требованиями своей глубокомысленной науки, хочет, чтобы не умерло не только ни одно слово, но даже ни одно чернильное пятно, которое он встретит в рукописях великого поэта. Петербургский приятель мой, купивший для меня новое издание, сообщает мне вдобавок, что истинно-просвещенные библиографы недовольны изданием г. Геннади. Они находят, что он недостаточно уважает деятельность великого поэта, ибо спас далеко не все из черновых тетрадей, что бы следовало спасти. Прошу вас сообщить, справедливо ли известие, будто готовится еще издание сочинений Пушкина, уже вполне удовлетворяющее требованиям библиографической науки, издание, как пишут мне, драгоценное для людей ученых, но которого я не куплю» («Современник», 1860, ноябрь). Этот голос не дошел до ушей библиографов, и сменивший Геннади Ефремов продолжал «пополнять» текст Пушкина по рукописям, которых, кстати сказать, сам он не видал и знал по свидетельству других: по «Материалам» Анненкова да по несовершенным транскрипциям Якушкина.

Полноление это не представляло большой трудности. Художественный метод работы Пушкина состоял в стремлении к идеалу точности и краткости, которые Пушкин ценил как в прозе, так и в стихах. Пушкин достигал своего идеала путем безжалостного устранения отдельных стихов и стрóf из своих произведений, и рукописная редакция почти всегда у Пушкина была длиннее и «полнее», чем окончательная. Так, Пушкин не остановился перед тем, чтобы из «Евгения Онегина» выбросить целую главу (восьмую). При этом Пушкин часто устранял прекрасные стихи, устранял их не потому, что они плохи, а потому, что они вредили цельности впечатления. Очень часто он сохранял отброшенные стихи, чтобы воспользоваться ими в новом произведении. Так, стихи из отброшенной восьмой главы «Онегина» он перенес в последнюю главу, стихи из сожженной десятой главы — в стихотворение «Герой», и т. д. Ефремов все эти отброшенные стихи поспешил поставить «на свои места». Между прочим это создало впечатление того, что Пушкин слишком часто повторяется; нашелся даже исследователь, который написал глубокомысленную книгу о «самоповторении» Пушкина. Постепенно были испорчены такими вставками «Евгений Онегин», «Домик в Коломне», отдельные стихотворения и т. д. Постепенно редактор вторгся в текст Пушкина и свои произвольные компоновки, а подчас и откровенное сочинительство, стал выдавать за подлинного Пушкина. Порча Пушкина продолжалась до наших дней. Только работа советских текстологов положила предел безудержному произволу редакторов. Это факт несомненный, что бы ни говорил Е. Тарле.

Советская текстология не только пересмотрела текст Пушкина на основании первоисточников (только теперь ставших вполне доступными для исследователя). Она раскрепостила последние цензурные искажения и сокращения, по традиции переходившие из издания в издание. Многие произведения впервые напечатаны в советских изданиях в подлинном виде, без сочинительства редакторов. К таким произведениям относятся в первую очередь такие вещи, как «Дубровский», «Каменный

гость», «Медный всадник», «История села Горюхина» и мн. др. Если бы Е. Тарле удосужился сличить тексты этих произведений в советских изданиях с тем, что напечатано у Ефремова и Морозова, он бы сделал более интересные наблюдения, чем то, что он увидел в стихотворении «Юдифь».

Если ограничиться однотомником, в котором напечатано далеко не все, то и здесь он увидел бы многие приобретения текста Пушкина, из них многое — в порядке раскрепощения текста поэта от цензурных искажений. Назову, кроме перечисленных произведений (из которых только «Каменный гость» не содержал в старой редакции чисто цензурных искажений), такие вещи, как «Гавриилиаду», впервые включенную полностью в советские издания, десятую главу «Евгения Онегина», первую эпиграмму Пушкина против Александра I («Двум Александрам Павловичам»), наиболее революционное стихотворение юного периода «Меж тем, как генерал Орлов», «Когда порой воспоминание», в котором отразилась постоянная мысль Пушкина об угрожающей ему ссылке, запись споров о вечном мире, свидетельствующая о революционных разговорах в Кишиневе, полный текст «Дневника» 1833—1835 гг., без каких бы то ни было сокращений, полный текст «Отрывков из писем, мыслей и замечаний» и кое-что другое. Должен заметить, что из перечисленного некоторая часть впервые увидела свет на страницах однотомника. Достаточно просмотреть весь номер «Литературного критика», в котором напечатаны заметки Е. Тарле, чтобы в каждой почти статье найти цитаты из Пушкина, являющиеся приобретением советских изданий. А по статье Г. О. Винокура можно воочию убедиться, в результате какой работы эти приобретения даются.

Таким образом обвинения, будто однотомник и другие советские издания скрывают от читателей тексты, запрещенные царской цензурой, не только неосновательны, но и недобросовестны. Такого освобождения текста Пушкина от цензурных пут еще не было в прежних изданиях.

Конечно, это дело еще не доведено до конца. Только академическое издание, которое ставит своей задачей полный и систематический пересмотр текста Пушкина, даст полный материал для его завершения. Но такая работа не делается «немедленно». Это большой труд, который не под силу одному человеку. Не все, что делают современные текстологи, непогрешимо, и их работы нуждаются в критике и обсуждении. Но это обсуждение могло бы происходить спокойно, а не превращаться в свист, в котором одна половина критиков изощряет свое остроумие на ту тему, что текстологи копаются в черновиках, а другая, что не все черновые тексты печатаются корпусом на самых видных местах.

По отношению к изданиям, подобным однотомнику, то-есть к собраниям избранных произведений и текстов, дело еще более усложняется. Всякий выбор субъективен и удовлетворить одновременно всех невозможно. К сожалению, критики не считают с тем что в изданиях избранных произведений всегда ограничивает подбор текстов предельный объем издания. Вопрос о том, почему нет того или иного текста должен учитывать всегда и другую сторону вопроса: какой текст необходимо устранить из произведенного выбора, чтобы поместить требуемое. В этом

отношении редактору всего приятнее и спокойнее было бы издавать полный текст, полное собрание сочинений Пушкина.†

Выбор произведений в таких собраниях всегда отражает отношение эпохи к поэту. Этот выбор всегда в какой-то мере должен быть созвучен эпохе. Однако многие понимают это весьма примитивно. Для конца XIX в. и начала XX в. характерна борьба за Пушкина между либералами и реакционерами. И те и другие стремились присвоить себе Пушкина, как своего единомышленника. Появились работы, из которых, по мнению их авторов, следовало, что Пушкин был религиозным православным человеком, искренно преданным престолу и делу самодержавия, националистом и даже шовинистом. Из других работ следовало, что он всецело разделял убеждения русских земцев и членов кадетской партии. Современное отношение к Пушкину иное. Только теперь вполне возможно интегральное восприятие Пушкина, как поэта, мыслителя и человека; только своей цельностью Пушкин и дорог нам, хотя бы его взгляды, исторически обусловленные, и расходились с нашими убеждениями. Ныне не может быть в моде стилизация Пушкина. По отношению к произведениям политического порядка выбор должен отдать предпочтение тем законченным произведениям, в которых мысль автора выражена вполне, т. е. в первую очередь произведениям, не предназначенным для печати и не искаженным ни самой цензурой, ни даже опасением цензуры. Только обеспечив место для произведений, в которых Пушкин говорит полным голосом, можно думать о черновиках, в которых отразилась, хотя и не полностью, хотя подчас и в неясных иносказаниях, мысль Пушкина, не получившая отражения в окончательном тексте. Во всяком случае, вопрос о выборе того или иного текста должен решаться, исходя из общего плана собрания, и вопрос о том, ввести спорный текст или пожертвовать им, возможно рассматривать лишь при учете того, что уже присутствует в собрании.

Во всяком случае, избранные произведения всегда остаются только избранными, и, следовательно, никогда не будет уверенности, что тот или иной выбор удовлетворит все запросы, особенно в наши дни, когда интерес к творчеству Пушкина достиг совершенно необычайных размеров и когда пушкиноведение перестает быть специальной отраслью филологии, превращаясь в элемент общелитературной культуры, охватывающей широкие круги советских читателей.

Постскриптум

В порядке популяризации своих открытий Е. Тарле напечатал в «Литературном Ленинграде» свою заметку, являющуюся отчасти пересказом, отчасти дополнением статьи в «Литературном критике». Остановлюсь только на дополнении. Открыв недавно вышедший в свет «Временник Пушкинской комиссии», т. 2, Е. Тарле вычитал на стр. 435 в рецензии на книгу А. Н. Лозановой, что один анекдот о Пугачеве напечатан в изданиях, отредактированных Г. Зенгер и Б. Томашевским без восстановления нескольких слов, зачеркнутых Пушкиным. В рецензии была высказана догадка, что слова эти Пушкин зачеркнул из цензурных

соображений. Этого было совершенно достаточно, чтобы Е. Тарле предал сей факт широкой гласности на страницах газеты. Между тем, даже в случае совершенной точности этого факта, можно было бы не инкриминировать составителю однотомника пропуск этих слов, еще нигде не напечатанных. Если бы Е. Тарле взял в руки издания Гослитиздата третье (т. VI, стр. 336) и четвертое (т. VI, стр. 359), (в которых этот анекдот напечатан под редакцией самого автора рецензии (причем четвертое издание вышло в свет после Временника), он прочел бы тот же самый усеченный текст. С другой стороны, следует ли принимать догадку автора рецензии на веру, без всякой проверки? Дело в том, что анекдот о Пугачеве лежал у Пушкина в одной папке с рядом других анекдотов, вовсе не предназначенных к печати (о перевороте 1762 г., о Рылееве, по доводу убийства Павла и пр.), и в них незаметно попыток приспособить текст к цензуре.

Не лучше ли не спешить «немедленно» принимать эту догадку на веру и прежде всего проверить самый факт.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ
КРИТИКИ
И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

К Н И Г А
ЧЕТВЕРТАЯ



Г О С Л И Т И З Д А Т

1 9 • А П Р Е Л Ь • 3 7